

СОДЕРЖАНИЕ

Яков Гордин. Книга судеб, или История с человеческим лицом	5
---	---

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ ПУШКИН

Две тетради (заметки пушкиниста)	28
1. А в ненастные дни...	30
2. Два примечания	43
«Снова тучи...» Пушкин и самодержавие в 1828 году	62
«Краткая хроника»	62
«Играть ее невозможно»	64
«Дело...»	67
1828-й	69
Письмо царю	72
Братья Митьковы и их люди	75
Рекруты и Власть	78
Любопытный майор	80
Пушкин и его друзья под тайным надзором	84
«Сказать все...»	94
1799–1816	96
«И прелести кнута...»	106
Весна 1820-го	109
«Смотри, как пламенный поэт...»	113
1820–1826	114
13-й том	116
Когда же?	117
«Переписываю набело...»	118
На свободе	121
Уход	126
Мы...	127
Близкий круг	128
«Толпа слепая»	135
60 миллионов	136
Декабристы	141

<i>Юная Москва</i>	142
<i>Москва пушкинская</i>	144
<i>Гармония и разлад</i>	146
<i>С 1834 года</i>	148
<i>После ссоры</i>	149
<i>Три вызова</i>	154
<i>С ноября 1836 года</i>	155
<i>«Судьбы свершился приговор»</i>	157
<i>Отсутствие воздуха</i>	158

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. XIX ВЕК

О Герцене: заметки	162
<i>Двойники</i>	162
<i>Упреки</i>	163
<i>Неведомая сила</i>	164
<i>И освободил...</i>	166
<i>Кровь и после...</i>	167
<i>Хирург или акушер?</i>	167
<i>Что хорошо?</i>	168
<i>Свобода</i>	169
<i>Оптимизм</i>	171
«Идет куда-то...»	174
<i>Царская родня</i>	175
<i>«Многодостойнейший»</i>	178
<i>Последние годы</i>	182
<i>Суд потомства</i>	184
<i>Лопухин приближается</i>	185
<i>Зачем же?</i>	187
<i>Споры</i>	188
«Вослед Радищеву...»	190
<i>Пролог</i>	190
<i>С екатерининских времен</i>	194
<i>1790-й...</i>	197
<i>1790–1802</i>	198
<i>Самоубийство</i>	202
<i>Диалог</i>	203
<i>От Пушкина до Герцена</i>	206

<i>Радищев возвращается</i>	208
<i>Опять лето 1858-го</i>	209
<i>И грянул спор...</i>	211
<i>Эпилог</i>	217
После 14 декабря.	
Из записной книжки писателя-архивиста	220

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

«Революция сверху» в России (заметки историка)	268
<i>Не намеком единым</i>	268
<i>Спираль</i>	270
<i>Сверху...</i>	271
<i>Сколько их?</i>	272
<i>Отчего же?</i>	274
<i>Еще 250 лет</i>	277
<i>Нужны ли итоги?</i>	284
<i>Петр</i>	287
<i>Что же произошло?</i>	291
<i>Страх или честь?</i>	294
<i>Покорность и бунт</i>	297
<i>Петровский период</i>	302
<i>Царь и дворяне</i>	305
<i>С начала XIX...</i>	308
<i>План Лагарпа</i>	309
<i>14 декабря</i>	319
<i>Тридцатилетняя контрреволюция</i>	325
<i>«Оттепель»</i>	332
<i>Направо или налево?</i>	343
<i>После 19 февраля</i>	348
<i>1861–1866 годы</i>	350
<i>Итоги</i>	362
<i>Эпилог I</i>	366
<i>Эпилог II</i>	370
Справка о первых публикациях	376
Примечания	377
Именной указатель	385

КНИГА СУДЕБ, ИЛИ ИСТОРИЯ С ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ ЛИЦОМ

Однажды я сопровождал в Стокгольм Анри Пиренна. Едва мы прибыли в город, он сказал: «Что мы посмотрим в первую очередь? Здесь, кажется, выстроено новое здание ратуши? Начнем с него». Затем, как бы предупреждая мое удивление, добавил: «Будь я антикваром, я смотрел бы только старину. Но я историк. Поэтому я люблю жизнь». Способность к восприятию живого — поистине главное качество историка.

Марк Блок. Апология истории

Эти два имени — Марк Блок и Анри Пиренн — возникли здесь не случайно. Натан Яковлевич Эйдельман уверенно одобрил бы их присутствие, их соседство с его именем.

Марк Блок, «Апологию истории» которого Эйдельман знал и высоко ценил, ветеран двух мировых войн, герой французского Сопротивления, погибший в гестапо, остро ощущал единство прошлого и настоящего. Настолько остро, что не мог уклониться от вызова истории. Хотя имел такую возможность.

В той главе, в которой речь идет о Пиренне, названной «Понять прошедшее с помощью настоящего», он писал: «Незнание прошлого неизбежно приводит к непониманию настоящего. Но, пожалуй, столь же тщетны попытки понять прошлое, если не представляешь настоящего»¹.

Он жил в едином историческом пространстве. Свойство, в высшей степени присущее Эйдельману.

Анри Пиренн, крупнейший бельгийский историк, в главных своих трудах — «Магомет и Карл Великий» и в «Истории Бельгии», два тома которой, посвященные Нидерландской революции, были изданы на русском языке

¹ Блок М. Апология истории. М., 1973. С. 27.

в 1937 году, являют тот тип историографии, который, как мы увидим, был близок Эйдельману, — это история людей, а не событий и явлений.

Эйдельман менее всего был «антикваром», как и Марк Блок, он естественно существовал в живом историческом потоке, вступая в человеческие отношения с персонажами своего обширного исследования, воспринимая их скорее как собеседников, чем как объект научного анатомирования.

Некогда, в небольшом эссе, посвященном Эйдельману, я писал: «Есть два типа историков. Одни говорят об истории. Другие говорят с историей. Это не качественная оценка. Это — констатация. Эйдельман говорил с историей так же расположено, открыто и бурно, как разговаривал с друзьями. Он был исследователь-собеседник. Из тех, кто разговаривает с богами, а не только вопрошает. Методологические принципы историка зависят в не меньшей степени от его человеческой природы, чем от научной школы. <...> Принцип „собеседничества“ в осознании истории — это живое взаимодействие сознаний: сближение, отталкивание, как угодно, но — живое, с ощущением союзника ли, оппонента ли как собеседника, а не как предмета дружелюбной или враждебной научной вивисекции»¹.

Особенность предлагаемой читателю книги в том, что она в значительной части состоит из работ, публиковавшихся в разное время в периодике, и отличается от монографических изданий Эйдельмана естественным разнообразием сюжетов.

Исключение составляет последняя большая работа — «Революция сверху в России», вышедшая в год смерти своего автора отдельным изданием.

Книга включает три раздела.

Первый — пять статей о Пушкине. Второй, под условным названием «19-й век». И третий — «История и современность» — «Революция сверху в России».

При кажущемся разнообразии тем книга, как мы увидим, являет собой единую систему, скрепленную пересечением судеб, перекличкой идей, методом исследования материала.

Метод декларирован первой статьей — «Две тетради. Заметки пушкиниста». Это единственная статья в книге, которую с достаточным основанием можно назвать литературоведческой. Здесь Эйдельман победительно демонстрирует свое искусство выявления смысла разорванных текстов — черновики, путем установления трудноуловимых связей, путем сопоставления отрывков, казалось бы, исключаящих родство между собой. Он демонстрирует искусство сопоставления вариантов, не желающих, на первый взгляд, складываться в органичную картину. Он демонстрирует уникальное умение охватить взглядом пространство, заполненное разнородными набросками, и превращать его в историческое полотно. Это пространство — две «болдинские тетради» 1833 года, которым были присвоены архивные номера 2373 и 2374.

¹ Гордин Я. В сторону Стикса. Большой некролог. М., 2005. С. 79.

Эйдельман берется за дело безнадежное. «...Стоит ли говорить, как изучены, тысячекратно прочитаны болдинские тетради... И все же мы приглашаем... Приглашаем всего к нескольким листам, к нескольким мелочам».

Разумеется, эти «мелочи» плотно встроены в общий болдинский контекст.

И далее: «То, что принято называть „психологией творчества“, большей частью неуловимо, непостижимо, но иногда вдруг, следуя за частностью, подробностью, попадаем в такие глубины, откуда дай бог выбраться, где *„мысль изреченная есть ложь...“*».

И в результате из анализа этих «мелочей» возникает грандиозная картина не просто мощных замыслов, но судьбы России, а затем и горький абрис собственной судьбы Пушкина.

«Начав с частных, черновики, датировки и тому подобного, мы, кажется, коснулись вещей важнейших: пугачевская война и крестьянские, холерные бунты начала 1830-х годов; страшный крах той цивилизации, где была молода старая графиня, и загадка нынешнего мира, которым пытается овладеть Германн. <...> Космические вихри вьются над тетрадью 2373 и ее несохранившимися страницами, где скорее всего находились все черновики „Пиковой дамы“, трагические мотивы для поэта, может, самые мучительные, и в соседней, 2374-й».

Уже мелькнул среди этих «космических вихрей» один из важнейших сквозных героев книги — Карамзин, и встал в полный рост другой не менее важный для всей творческой работы Эйдельмана (хотя монографического исследования о нем и нет) — император Петр Великий.

Вторая часть статьи — история драматических отношений двух гениев — Пушкина и Мицкевича. Верный избранному приему, Эйдельман отталкивается от двух примечаний к «Медному всаднику» — на первый взгляд вполне частных.

«О том, что отношения двух гениев, русского и польского, были важнейшим событием в предыстории „Медного всадника“, известно давно, написано немало... Но и сегодня, начав размышлять над несколькими строчками примечаний, можно, кажется, приблизиться к *„предметам сокровенным...“*».

Что же для Эйдельмана видится «предметами сокровенными»?

То, что образует грозное единство личной судьбы и безжалостного потока истории. «История не щадит человеческой личности и даже не замечает ее», — печально констатировал Бердяев в «Самопознании», философской автобиографии. Безжалостность истории была внятна и Пушкину, и Эйдельману. Но для них история не была неким абстрактным процессом. Она была для них ярко персонифицирована. Эйдельман говорит о «Полтаве», что «в этой поэме личное, частное уже раздавлено, перемолото историческими жерновами». Однако жернова эти приводит в движение исключительно человеческая воля, и любимая пушкинская формула — «сила вещей» — для них отнюдь не безлика.

В глубокой и подробной статье «Несколько слов об Эйдельмане-пушкинисте» его друг и соратник В.Э. Вацура писал: «Личное начало окрашивало все

его устные и печатные выступления, и у слушателей и читателей иной раз возникло ощущение, что перед ними современник событий. В этом заключалась, между прочим, одна из причин общественного резонанса работ Эйдельмана: социально-экономический и политический анализ событий предстал в его изложении не как абстракция, а как обобщение живого исторического быта, индивидуальных судеб и психологии»¹.

Вторая часть статьи «Две тетради» — неотразимый пример этого органичного единства «социально-экономического и политического» пласта исторического процесса и индивидуальных судеб, суммы человеческих поступков, многообразия мотиваций.

Рассматривая трагическое развитие отношений Пушкина и Мицкевича — дружбы, перешедшей в горькое историософское и политическое противостояние, Эйдельман изначально включает его в жесткий событийный ряд. Он говорит о двух поэмах — творческом оформлении этого противостояния — «Олешкевиче» Мицкевича и «Медном всаднике»: «Пять лет всего разделяет две поэмы, но какие это годы! Посредине этого периода — 1830–1831: революции и восстания во Франции, Бельгии, Италии, Польше, нашествие холеры, бунты в Петербурге и военных поселениях...

Страшные, кровавые, горячие года: все это порождает новые пушкинские мысли, новое ощущение истории...»

И вот тогда открывается грандиозный масштаб происходящего между двумя гениями, представляющими два народа, связанные единой мучительной судьбой. Человеческий аспект событий оказывается неразделимым с аспектом «социально-экономическим и политическим».

Полтора десятка страниц, рассказывающие о противостоянии Пушкина и Мицкевича, по событийной и психологической плотности равны романному полотну. Причем событийность эта, как и психологическая напряженность, вырастает из точного анализа конкретных текстов, отдельных строк, россыпи разнокалиберных фактов, соотнесенных с контекстом не только момента, но бурной эпохи более чем столетней протяженности — с «революции Петра» начиная.

И результат этого противостояния — две великие поэмы... В дружеском разговоре 1834 года Пушкин сказал Сперанскому: «Вы и Аракчеев, вы стоите в дверях противоположных этого царствования как Гении Зла и Блага»².

В противоположных концах предлагаемой книги стоят две глубоко символические для судьбы России фигуры — Пушкин и Петр.

Это, разумеется, случай куда более сложный, чем в приведенной пушкинской максиме. И тем не менее над этим обрамлением стоит задуматься.

¹ Эйдельман Н. Статьи о Пушкине. Предисловие В. Вацуру. М., 2000. С. 13.

² Пушкин А. С. Полное собр. соч. в десяти томах. Т. 8. М.; Л., 1949. С. 42.

Две следующие статьи «Снова тучи... Пушкин и самодержавие в 1828 году» и «Пушкин и его друзья под тайным надзором» содержат сюжеты пересекающиеся. И там, и там речь идет о двусмысленном и опасном положении Пушкина несмотря на ясно выраженное благоволение к нему молодого императора после знаменитой встречи в Москве 8 сентября 1826 года.

И дело не столько в новых наблюдениях и новых материалах, дополняющих известную работу Б. Л. Модзалевского «Пушкин под тайным надзором».

Тут стоит снова обратиться к точным соображениям В. Э. Вацура из цитированной уже статьи: «Историческая и психологическая мотивация поведения — эта проблема всегда была в поле зрения Эйдельмана-историка. Исследование ее — стержневое начало его лучших книг»¹. Добавим: и отдельных работ.

В этих двух статьях, трактующих, по сути дела, одну проблему, несколько действующих лиц. Но центральные фигуры — Пушкин, что естественно, и Николай I, хотя он появляется эпизодически. Казалось бы, главные «действователи», с которыми реально сталкивается Пушкин, — Бенкендорф и Булгарин. Однако атмосфера, в которой два вышеназванных персонажа действуют так, а не иначе, определена Николаем и особенностями его личности.

У Эйдельмана есть большая работа «Секретная аудиенция», посвященная знаменитому свиданию Пушкина и Николая.

В. Э. Вацура писал: «Он (Эйдельман. — Я. Г.) начинает изучать психологию личности Николая. Ему важно понять мотивы его поведения, ибо без этого непонятны ни дошедшие до нас отрывочные реплики участников диалога, ни самый рисунок поведения Пушкина»².

Между тем именно рисунок поведения Пушкина после рокового свидания 8 сентября 1826 года, с которого и начался путь Пушкина к трагедии и гибели 1830-х годов, ставит перед исследователями сложнейшие задачи, процесс решения которых требует искусства анализа исторического и психологического.

Эйдельман владел этим искусством в высшей степени. И две названные статьи, несмотря на скромные размеры, существенно дополняют его более фундаментальные исследования чрезвычайно многоаспектного сюжета — оторванный шестилетней ссылкой от активного политического быта Пушкин в принципиально изменившемся мире николаевской России.

В статье «Снова тучи... Пушкин и самодержавие в 1828 году» Эйдельман пишет: «Автору уже не раз приходилось высказываться о том, что сам поэт, с его широчайшим взглядом на сцепление вещей и обстоятельств, не видел тут никакого противоречия; что оба полюса — „сила вещей“ правительства и „дум высокое стремление“ осужденных — составляли сложнейшее диалектическое единство в системе его политического и нравственного мышления. <...>

¹ Эйдельман Н. Статьи о Пушкине. С. 19.

² Там же.

Разумеется, сохранение этого единства нелегко давалось самому поэту; понимание его позиции было труднейшей задачей для старых друзей-декабристов и — совершенно невозможной для подозрительной власти».

Безусловная заслуга Эйдельмана в том, что он ввел плодотворное понятие диалектичности пушкинского мышления. Для него, с его обостренным вниманием к нравственному содержанию исторического процесса, реализованного через сумму человеческих поступков, диалектичность пушкинского подхода к своему взаимоотношению с государством отнюдь не нравственный релятивизм. Это удивительная способность Пушкина, его аналитического ума, сопряженного с даром художественного проникновения в самые загадочные области человеческих отношений — в политике в том числе, — находить органику в противоречивости явлений.

Понимание этой пушкинской способности дает возможность Эйдельману показать сложный рисунок отношений Пушкина и Карамзина.

Название статьи «Сказать все...» восходит к любимому Пушкиным парадоксу итальянского публициста аббата Гальяни (1774): «...Что такое высшее ораторское искусство? Это искусство сказать все — и не попасть в Бастилию в стране, где не разрешается говорить ничего». Любопытно, что этот парадокс Гальяни Эйдельман занес в дневник.

Воззрения самого Карамзина на положение писателя-гражданина тоже были не лишены парадоксальности,

В 1797 году уже усвоен страшный урок яacobинского террора и Карамзин вряд ли готов приветствовать революцию — он пишет:

*Тацит велик; но Рим, описанный Тацитом,
Достоин ли пера его?
В сем Риме, некогда геройством знаменитом,
Кроме убийц и жертв не вижу ничего.
Жалеть о нем не должно:
Он стоил лютых бед несчастья своего,
Терпя, чего терпеть без подлости не можно!*

Это явный призыв к сопротивлению. Но удивительна максима, произнесенная Карамзиным в 1819 году: «Честному человеку не должно подвергать себя виселице».

Эйдельман ищет объяснения этому противоречию. «Как известно, смысл этой фразы не в том, что порядочному человеку должно избегать опасностей, беречь себя и т.п. Карамзин хотел сказать (речь шла, разумеется, не о тираннических режимах, но сколько-нибудь просвещенных), что если честного человека тащат к виселице, значит, он не использовал законных, естественных форм сопротивления, изменил самому себе».

Но максима Карамзина произнесена в контексте, который не содержит оговорок. Она категорична. И Эйдельман в книге «Последний летописец»

комментирует эту максиму несколько по-иному: «Слова Карамзина в 1819 году: „Честному человеку не должно подвергать себя виселице“. Карамзин в 1819-м (то есть в разгар споров о его восьми томах) очевидно хотел по-другому сказать уже прежде им сказанное, что „всякие насильственные потрясения гибельны, и каждый бунтовщик готовит себе эшафот, в то время как для честного человека возможны другие пути...“»¹

Снова надо вспомнить точное наблюдение В.Э. Вацура о «личном начале» в исследовательской работе Эйдельмана, которая давала читателям и слушателям возможность воспринимать Эйдельмана как современника его героев. Но это интенсивное «личное начало» определяло и другой важнейший аспект его существования в историческом потоке. Он с не меньшей остротой ставил перед собой те же проблемы, которые стояли перед его героями.

Судя по его дневникам, Эйдельман мучился двойственностью своего положения — неприятием советской реальности и неготовностью к радикальному действию. Речь шла, естественно, не о вооруженной борьбе, но о прямых высказываниях во время выступлений.

Его постоянно волновал исторический выбор между насилием и ненасилием при явной необходимости воздействия на окружающую реальность.

Он упрекал — я тому свидетель — своего друга, одного из лучших русских исторических романистов, Юрия Владимировича Давыдова в игнорировании «толстовского фактора» при художественном анализе народнической и народо-довольческой эпохи.

Толстой отсутствует среди сквозных персонажей нашей книги, но его гигантская тень ложится на ее страницы. Это неудивительно — Толстой живет в дневниках Эйдельмана с 1950-х годов и ссылки на его опыт там постоянные. И это многое объясняет в его подходах к истории. В мировидении Эйдельмана была фундаментальная черта, роднившая его с яснополянским пророком. Он, как и Толстой, был убежден в необходимости следовать естественному ходу истории, в губительности неорганичного вмешательства в этот процесс. Притом что далеко не все — даже самые радикальные — попытки этого вмешательства представлялись ему неорганичными. Например, попытка 14 декабря, скорее всего, мыслилась ему более органичной, чем николаевские заморозки. Но тут возникало мучительное противоречие. Эйдельман предлагал — как результат честных исследований — максимально объективную для него картину прошлого и объяснял закономерность того, что произошло. Но при этом он как гуманист, постоянно обремененный обостренным чувством справедливости, не мог внутренне примириться с неоправданной жестокостью и неразумностью процесса. И он постоянно искал возможность сочетания «силы вещей», исторической неизбежности, и своего представления о том, как должно, как справедливо.

¹ Эйдельман Н. Последний летописец. М., 1983. С. 112.

После вторичного прочтения «Иосифа и его братьев» Т. Манна он записывает в дневник: «...Лучшее — Иосифа везут купцы и учат, что время даст всему вызреть само»¹.

Но какова роль человека в этой работе роковых жерновов?

И большая работа о Пушкине и Карамзине «Сказать все...» — это напряженная попытка остаться равным пушкинской диалектике на примере восприятия Пушкиным титанического труда историографа. Пушкину могут быть не близки смыслообразующие постулаты Карамзина, но это — «подвиг честного человека».

При этом читателю предлагается многообразная картина далеко не всегда идиллических, но глубоко достойных отношений этих двоих людей, каждый из которых являет собой эпоху. И стержень сюжета — упорное стремление Пушкина осознать и выявить роль Карамзина в своей собственной судьбе и судьбе России.

Завершает раздел, посвященный Пушкину, обзор разноплановых обстоятельств, сделавших неизбежной гибель поэта. Менее всего Эйдельман касается личных, семейных причин смертоносного конфликта. И это совершенно правильно. В иной ситуации у Пушкина хватило бы сил справиться с этой составляющей драмы.

И завершается статья «Уход» точной фразой, при всей лапидарности во многом объясняющей стилистику поведения Пушкина в последние месяцы его жизни: «Можно сказать, что ранняя гибель Пушкина стала последним его творением, эпилогом, вдруг ярко, резко озарившим все прежнее».

Сквозь всю книгу проходят несколько персонажей — те, что прошли и сквозь всю жизнь Эйдельмана. Это Пушкин, Карамзин и Герцен. Имя Петра, который будет главным героем последней части — «Революция сверху в России», — уже упоминалось.

Все находятся в сложной и глубоко осмысленной связи между собой. Они возникают в разных точках общего сюжета книги — вне зависимости от того, является тот или иной из них центральным персонажем статьи. Их судьбы, их идеи, их взаимоотношения делают книгу цельным историческим пространством.

Первая статья второй части называется «О Герцене. Заметки». Этот жанр, которым Эйдельман владел в совершенстве, не исчерпывается данной статьей. «Две тетради», которыми открывается книга, тоже названы «Заметки пушкиниста». И чрезвычайно важная для автора статья «Сказать все...» — это тоже фактически заметки, объединенные не столько внешним сюжетом, сколько смысловой задачей.

Жанр заметок дает возможность свободного обращения с материалом и предполагает в случае надобности введение автобиографического элемента. Быть может, не столько фактологического, сколько идеологического.

В книге «Былое и думы» Герцена Л. К. Чуковская писала: «Единство частного и общего, личного и общественного — характернейшая особенность герценов-

¹ Эйдельман Ю. Дневник Натана Эйдельмана. М., 2003. С. 138.

ского сознания. Для Герцена пожар Москвы, или казнь декабристов, или восстание в Варшаве — это вехи его собственной жизни, главы из его „логического романа“. <...> Историческое событие Герцен проводит сквозь собственную душу. Автор ведет речь о разгроме декабристского восстания — о событиях исторической важности — и в то же время о себе самом»¹.

А вот что пишет Эйдельман в кратком вступлении к «Заметкам»: «Герцен мне помог в жизни не меньше, чем самые близкие друзья. Занимался и занимаюсь им по любви».

Как уже говорилось, принцип общения со своими персонажами у Эйдельмана можно определить как собеседничество. Как сказала о нем М. О. Чудакова: «Сломал для себя грань между объективным и субъективным»².

А в предисловии к монументальному тому работ Эйдельмана о Герцене, вышедшем, увы, через 10 лет после его кончины, составитель и научный редактор тома Е. Л. Рудницкая писала о «присущем ему остром ощущении слитности прошлого и настоящего в его личностном преломлении. Именно это начало пронизывает все работы Эйдельмана, связанные прежде всего с именем Герцена. В них нашло свое выражение присущее Эйдельману и роднящее его с Герценом жизнеощущение, тонко подмеченное Б. Ш. Окуджавой: „переливавшееся через край пристрастие к нашему прошедшему и, значит, к нашему грядущему“»³.

И тут мы можем вспомнить не безусловное, но имеющее смысл сопоставление Сперанского и Аракчеева с Пушкиным и Петром.

Разумеется, Пушкин и Эйдельман не считали Петра «Гением Зла». Но истинное, диалектическое отношение Пушкина к Петру Эйдельман угадывал.

У него была одна характерная особенность, которую вряд ли следует считать сознательно культивируемым приемом, — он являл читателю собственные главные идеи через своих любимых персонажей.

И Герцен был, безусловно, одним из таких рупоров.

А одной из главных идей была, как уже говорилось, идея органичной постепенности, к которой в конце концов пришел Герцен.

Есть все основания предположить, что, «сломав для себя грань между субъективным и объективным», Эйдельман в высокой степени отождествлял себя с Герценом. Здесь нет ничего аномального. Речь идет о предельной родственности мировидения и восприятия себя в мире.

Именно через Герцена — задолго до «Революции сверху» — Эйдельман определял свое отношение к Петру, сложно сопоставимое с отношением Пушкина к первому императору.

¹ Чуковская Л. «Былое и думы» Герцена. М., 1966. С. 23, 25.

² Чудакова М. Натан Эйдельман, историк России // Знание — сила. 1990. Декабрь. С. 26.

³ Эйдельман Н. Свободное слово Герцена. М., 1999. С. 5.

Эйдельман сходил с Пушкиным в понимании фундаментальных факторов, определяющих позиции «честного человека», которому не следует «подвергать себя виселице», в отношении государства. Это — максимальное охранение личного достоинства и неприятие костоломных перемен.

Известно, как высоко ценил Пушкин человеческое достоинство, частную независимость. «Без политической свободы жить очень можно; без семейственной неприкосновенности <...> невозможно: каторга не в пример лучше»¹.

Именно воспитание человека чести, человека с абсолютным чувством собственного достоинства считал Пушкин спасением для России.

Это вполне совпадает с убеждением Толстого. Смертельно оскорбленный обыском, который жандармы провели в его отсутствие в Ясной Поляне, он писал своей тетушке фрейлине Александре Андреевне Толстой: «Какой-то из ваших друзей, грязный полковник, перечитал все мои письма и дневники...

Счастье мое и этого вашего друга, что меня тут не было, — я бы его убил!»²

По накалу ярости эта филиппика вполне соответствует пушкинскому письму жене от 3 июня 1834 года по поводу перлюстрации его переписки с ней: «Мысль, что кто-нибудь нас подслушивает, приводит меня в бешенство...»³

В программной брошюре, изданной в Берлине в 1905 году, Толстой подвел итог своих размышлений на эту тему: «...Русское правительство, как всякое правительство, есть ужасный, бесчеловечный и могущественный разбойник...» И спасение мира исключительно в отдельном частном человеке, ориентированном на нравственный идеал: «...Закон Бога, не требующий от нас исправления существующего правительства, или установления такого общественного устройства, которое по нашим ограниченным взглядам обеспечивает общее благо, а требующий от нас только одного: нравственного самосовершенствования, то есть освобождения себя от всех тех слабостей и пороков, которые делают нас рабами правительств и участниками их преступлений»⁴. «Самостоянье человека» — по Пушкину.

В модифицированном, разумеется, виде эти близкие Эйдельману идеи он видит в текстах Герцена.

В заметках о Герцене он пользуется нехарактерным для него, но наиболее эффективным в данном случае методом — ключевые по смыслу выписки со скупыми комментариями. Это создает «смысловое сгущение».

В принципиальной по значимости главе «Кровь и после...» он предлагает нам — фактически — их общий с Герценом взгляд на участие человека в историческом процессе.

¹ Письма А. С. Пушкина к жене. СПб., 2019. С. 77.

² Толстой Л. Н. Полное собрание сочинений. М., 1949. Т. 60. С. 428.

³ Письма А. С. Пушкина к жене. С. 77.

⁴ Толстой Л. Н. Об общественном движении в России. Берлин, 1905. С. 20.

«Около 1860 года, — пишет Эйдельман, — Герцен находит, что кровавая революция — средство самое крайнее, опасное и нежелательное. По сочинениям его можно составить на эту тему целую энциклопедий о мрачных эпилогах великих потрясений».

Любопытно, что в 1861 году Толстой в письме к Герцену, с которым познакомился и подружился, будучи в Европе, упрекает Герцена в излишнем радикализме, хотя и говорит, что его, Толстого, понимание России схоже с пониманием Рылеева в 1825 году.

Далее следуют тексты Герцена.

«...Мы не верим, что народы не могут идти вперед, иначе как по колена в крови; мы преклоняемся с благоговением перед мучениками, но от всего сердца желаем, чтоб их не было».

«Я нисколько не боюсь слова „постепенность“, опошленного шаткостью и неверным шагом разных реформирующих властей. Постепенность так, как и непрерывность, неотъемлема всякому процессу разумения».

«Неужели цивилизация кнутом, освобождение гильотиной составляет вечную необходимость всякого шага вперед?»

Упоминание кнута как главного средства благодетельных перемен естественным образом приводит нас к пушкинской формуле о петровских указах, которые «писаны кнутом».

И в следующем абзаце у Эйдельмана появляется первый император.

«Сопоставляя разные формы социальных и политических переворотов, Герцен часто прибегает к „естественно-физиологическим“ сравнениям. Петр I, Конвент шагают „из первого месяца беременности в девятый“».

Петра Герцен ставит рядом со свирепым французским Конвентом, приближавшим народное счастье с помощью гильотины. Герцену, как и Эйдельману, было внятно предложенное Пушкиным определение — «революция Петра».

Разумеется, хорошо помнил Эйдельман и классическую строку Волошина: «Великий Петр был первый большевик...»

Эйдельман пишет: «Необходимость хирурга не отрицается, однако роль акушера кажется более естественной, основной».

Вот отрывки из знаменитого сопоставления „хирурга Бабефа“ (французского революционера, утопического коммуниста) и „акушера Оуэна“ (английского утописта, поборника мирных методов).

Прочитав (правда, несколько „сгущенно“, иронически) проект будущего социалистического устройства общества, составленный 1796 году Гракхом Бабефом, Герцен обращает внимание на строгую правительственную регламентацию, при помощи которой Бабеф собирался достигать общественного блага».

Далее Герцен: «Декреты, как и следует ожидать, начинаются с **декрета полиции**».

Для Эйдельмана это имело особый смысл, поскольку он прекрасно знал «Русскую правду» — конституцию Пестеля, по которой общественное благо достигалось строжайшей политической дисциплиной, охраняемой всемогущей секретной службой.

Перечисляя отдельные пункты программы, Герцен выделяет курсивом грозные карательные меры, причитавшиеся за неисполнение гражданами их обязанностей. Заняв около двух печатных страниц этими выдержками, Герцен заканчивает: «За этим так и ждешь „Питер в Царском Селе“, — а подписано не Петр I, а первый социалист французский Гракх Бабеф».

Для Петра понятий человеческого достоинства, как и «постепенности», не существовало. «Все <...> были равны перед его дубинкой», — писал Пушкин.

Петр, прогневавшись, избил палкой уважаемого во Франции одного из первых архитекторов Петербурга, Леблона, отчего тот, по вполне правдоподобной версии, и умер, не пережив унижения. «Птенцы гнезда Петрова» постоянные побои переживали без особых психологических страданий.

И в этой связи несомненно важно известное Эйдельману постепенное изменение в восприятии личности и деяний Петра как Пушкиным, так и Толстым — неуклонное нарастание негативных суждений. Достаточно внимательно прочитать пушкинскую «Историю Петра». Сам он говорил, что ее невозможно будет опубликовать. Николай, просмотрев после смерти Пушкина рукопись, это подтвердил. Он нашел, что в ней много «неприличных выражений», касающихся императора.

Толстой начал, судя по дневникам Софьи Андреевны, с понимания и признания петровских методов, но, изучив материал подробно и, главное, ясно определив свое отношение к политике как практике воздействия на реальность, закончил убийственной формулой: «Беснующийся пьяный <...> зверь четверть столетия губит людей».

Разумеется, Эйдельман — вслед за Герценом — не был так радикален в оценке «революции Петра» и его личности. Он старался быть верным пушкинской диалектичности. Но тщательно и продуманно отобранные выписки из Герцена говорят о многом. И противопоставление Пушкина и Петра как персонажей — явлений, между которыми, собственно, и лежит смысловое пространство книги, в текстах Герцена получает если не полное подтверждение, то по крайней мере — оправдание.

Эта проблематика развернута у Эйдельмана в «Революции сверху». И мы до нее еще дойдем.

Для Пушкина, Толстого, Герцена и Эйдельмана человек был не объектом, а субъектом исторического процесса и одновременно его единственным двигателем.

Поэтому так внимательно рассматривает Эйдельман особенности мотиваций и психологических трансформаций своих героев. В каждом из них живет концентрированная эпоха, и каждый из них в той или иной степени отвечает за особенности эпохи.

Эйдельмана чрезвычайно интересовало, как человек взаимодействует с временем. Он пристально всматривается в судьбы своих героев, наблюдая, что происходит с ними при смене эпох. Доброжелательный даже к тем, кто этого, казалось бы, не заслуживает, он старается понять побудительные мотивы и тех, кто остается равен себе при всех обстоятельствах, как, например, сенатор Иван Владимирович Лопухин, дослужившийся до тайного советника. Чем он мог заслужить внимание Эйдельмана?

Важнейшие мемуары Лопухина опубликовал Герцен. И с истории издательской деятельности Герцена начинается очерк о Лопухине. Куда ж без Герцена?

Но дело не только в этой убедительнейшей для Эйдельмана рекомендации. Лопухин — образец человека, не изменявшего себе и своим гуманистическим принципам в «свой жестокий век», масон. Он представляет ту среду, из которой вышел Карамзин, — круг Новикова, масонов-мистиков и просветителей. Судьбы пересекаются. Для Эйдельмана это принципиально важно. От Лопухина к Карамзину. От Карамзина к Пушкину. И всех объединяет Герцен.

Великая человеческая общность явлена на страницах книги.

После яркого жизнеописания Лопухина, представляющего столь значимый для Эйдельмана XVIII век, очерк закономерно завершается возвращением к Герцену.

«Дело в том, — пишет Эйдельман, — что как Дашкова, как и Щербатов, Иван Владимирович — яркая самобытная, внутренне цельная личность». И цитирует Герцена: «Его странно видеть среди хаоса, случайных, бесцельных существований его окружающих; он идет куда-то — а возле, рядом целые поколения живут ощупью, вприсонках, составленные из согласных букв, ждущих звука, который определит их смысл».

В общей системе — не этой отдельной книги, а во всем пространстве творческой работы Эйдельмана — такие персонажи, как Лопухин, Карамзин, играют роль эталонных фигур, на фоне бытия которых он рассматривает судьбы более драматичные и подвижные. Причем это очень разные люди. Но в tomto и заключается смысл их изучения.

Эйдельмана живо интересует и эволюция Фаддея Булгарина, приятеля Рылеева и друга Грибоедова, его движение от одаренного журналиста с бурной военной биографией, из околodeкабристского круга, к откровенному доносителю и радостной сервильности.

Эйдельмана интересует путь арзамасца Блудова, умеренного, но явного либерала, в классические бюрократы николаевской эпохи.

Парадоксальному движению из «крикунов-либералов» в суровые охранители посвящен один из значительнейших материалов книги, скромно названный «После 14 декабря (из записной книжки писателя-архивиста)».

Начало очерка — увлекательная и поучительная история архивных поисков переписки весьма известного человека — Леонтия Васильевича Дубельта,

важного для Эйдельмана еще и тем, что на нем пересеклись две сюжетные линии — Пушкин и Герцен. Дубельт, в некотором роде, соединяет две эпохи — он наблюдал за Пушкиным, он надзирает за Герценом. Оба были хорошо знакомы с Леонтием Васильевичем.

Но прежде всего — это классический образец «превращаемого», если пользоваться термином Тынянова.

В блистательном прологе к «Смерти Вазир-Мухтара» он писал: «Как страшна была жизнь *превращаемых*, жизнь тех из двадцатых годов, у которых перемещалась кровь!

Они чувствовали на себе опыты, направляемые чужой рукой, пальцы которой не дрогнут»¹.

Известно, как относился Эйдельман к Тынянову. И, безусловно, он едва ли не наизусть знал эти две страницы, в которых спрессован огромный смысловой пласт.

Полковник Дубельт, в первой половине 1820-х один из «главных крикунов-либералов южной армии», по свидетельству Греча, был близок к Михаилу Орлову и князю Сергею Волконскому. Ему симпатизировал весьма разборчивый Ермолов, знавший его со времен Наполеоновских войн.

Естественно, после 14 декабря и мятежа Черниговского полка, массовых арестов в армии он оказывается под подозрением.

В «Алфавите членам бывших злоумышленных тайных обществ и лицам, прикосновенным к делу...» Дубельт занимает свое место. — «Дубельт 1-й Леонтий Васильевич. Подполковник, командир Старооскольского пехотного полка.

В сведении, полученном в декабре от главнокомандующего 1-ю армиею, а ему представленном от генерала Эртеля в марте 1824 года, Дубельт был показан в числе членов масонской ложи, существовавшей в Киеве. После того оставленной майор Унишевский в доносе своем показал, что еще в 1816 году заметил Дубельта принадлежащим к тайным сходбищам в Киеве и за сие открытие претерпевал от него разные гонения по нахождению его, Дубельта, дежурным штаб-офицером 4 пехотного корпуса. Как Унишевский, обещавший открыть и уличить всех сообщников Дубельта, будучи призван по Высочайшему повелению в Комиссию, отозвался, что он кроме уже показанного им, более ничего присовокупить не может, то Комиссия оставила сие без внимания»².

То, что сведения о Дубельте пришли от генерала Эртеля, — закономерно. В это время генерал от инфантерии Ф. Ф. Эртель был военным генерал-полковником 1-й армии и все доносы стекались к нему.

Когда Дубельт был дежурным штаб-офицером 4-го корпуса, Орлов был начальником штаба того же корпуса. То есть они постоянно сотрудничали по службе. Уже после 14 декабря, когда уцелевший, но опальный Орлов жил

¹ Тынянов Ю. Смерть Вазир-Мухтара. Л., 1932. С. 9.

² Декабристы. Биографический справочник. М., 1988. С. 25.

в Москве, а Дубельт был начальником штаба корпуса жандармов, у них случился вполне дружелюбный обмен письмами.

В этом нет ничего удивительного. Когда Бенкендорф после возвращения из заграничного похода, очарованный устройством наполеоновской жандармерии, вынашивал идеи создания такого же корпуса в России, то он приглашал в соратники своего друга князя Волконского. Князь Сергей Григорьевич пошел другим путем.

Эйдельман внимательно и подробно прослеживает путь Дубельта из «крикунов-либералов» в жандармы. Как происходило это превращение? Чего стоило оно «превращаемым»? История Дубельта была для Эйдельмана прекрасным испытательным полем.

Он приводит мотивацию своего героя — ответ полковника жене, которая уговаривала его: «Не будь жандармом!»

Дубельт, с юности воспитанный в среде отнюдь не охранительной, ответил супруге вполне в духе своей либеральной молодости: «Ежели я, вступая в корпус жандармов, сделаюсь доносчиком, наушником, тогда мое доброе имя будет, конечно, запятнано. Но ежели, напротив, я, не мешаясь в дела, относящиеся до внутренней полиции, буду опорой бедных, защитой несчастных; ежели я, действуя открыто, буду заставлять отдавать справедливость угнетенным, буду наблюдать, чтобы в местах судебных давали тяжёлым делам прямое и справедливое направление, — тогда чем назовешь ты меня?»

Эта благородная декларация, в которую полковник Дубельт несомненно верил, вполне соответствовала декларациям создателя корпуса жандармов Бенкендорфа, который и пригласил Дубельта в свою службу, как звал некогда Волконского.

Любопытно и не случайно эти теоретические декларации вполне соответствуют реальной практике героя соседнего очерка — сенатора Лопухина, который именно что был «опорой бедных, защитой несчастных» — за несколько десятилетий до того, на закате Века Просвещения.

Линии пересекаются, намерения, мечтания кажутся схожими, но жизненная практика оказывается иной. И это требует объяснения.

Эйдельман показывает, как случай — «могучее орудие провидения», по Пушкину, — диктует ту или иную судьбу. «...Стоило судьбе чуть-чуть подать в сторону — и могла выпасть ссылка, опала или грустное затухание, как, например, у Михаила и Катерины Орловых, о которых Дубельты не забывают». Не только не забывают, а искренне сочувствуют их печальной участи.

Вместе воевали, вместе служили... Не так все просто.

«Мы отнюдь не собираемся, — пишет Эйдельман, — рисовать кающегося, раздираемого сомнениями жандарма». И тем не менее приводит удивительную по той самой диалектической глубине и изяществу характеристику, которую дал Дубельту наблюдавший его Герцен: «Дубельт — лицо оригинальное,

он, наверное, умнее всего третьего и всех трех отделений собственной канцелярии. Исхудалое лицо его, оттененное длинными светлыми усами, усталый взгляд, особенно рытвины на щеках и на лбу, ясно свидетельствовали, что много страстей боролись в этой груди, прежде чем голубой мундир победил или, лучше, накрыл все, что там было».

Эйдельман в переписке обнаруживает свидетельства, что иногда на Дубельта, уже генерала, находила тоска.

И Эйдельман относится к этому серьезно. «Противоречия будут преодолены, служба будет все успешнее, но грусть не уйдет... Эта грусть крупного жандарма 30–60-х годов XIX века — явление индивидуальное и социальное...» Вот что важно Эйдельману — социальное социальным, а каждый человек индивидуален.

Эйдельман так внимательно и, как ни странно это может прозвучать, не без некоторого сочувствия разбирается в «превращении» потенциального государственного преступника в успешного охранителя, потому что история Дубельта — выразительная модель для исследования процесса «превращения». Этого трагического процесса, когда в точке бифуркации, в момент рокового выбора решается судьба отдельного человека и судьба человеческой общности...

Историк Эйдельман — историк человеческих судеб, из которых складываются судьбы стран и народов. И общие закономерности он желает видеть исключительно через индивидуальные варианты.

И его тщательная, но осторожная анатомия личности и судьбы Дубельта необходима ему не в последнюю очередь при постоянных и нелегких размышлениях о судьбе Пушкина, его совершенно ином, конечно же, «превращении», его выборе, который привел в конечном счете к духовной победе и жизненной катастрофе.

В том же блистательном тыняновском прологе было сказано: «Благо было тем, кто псами лег в двадцатые годы, молодыми и гордыми псами со звонкими рыжими баками!»¹

Два ведущих типа героев проходят сквозь всю творческую работу Эйдельмана и через нашу книгу, соответствующим образом составленную. Это высоко ценимые им цельные натуры — те самые «молодые, гордые псы», что полегли в 20-х годах (хотя физически они могли остаться в живых) и остались верны себе до конца — Лунин, Пущин, и те, кто погиб оттого, что остался верным себе, — Сергей Иванович Муравьев-Апостол, «Апостол Сергей». Это цельные натуры — масон Лопухин и бывший масон Карамзин, эти выходцы из XVIII века, ни в чем себе не изменившие.

Все они любимы Эйдельманом и во многом близки ему. Но, «сломавший для себя грань между субъективным и объективным», он видел в центре своего духовного мира две личности иного типа — человеческий тип «человека

¹ Тынянов Ю. Смерть Вазир-Мухтара. С. 9.

меняющегося». Это Пушкин и Герцен. Недаром Эйдельман утверждал, что серьезная духовная работа началась для него с Герцена.

И удивительным образом жестокая проблематика, связанная с этим внутренним движением от простого к диалектичному, реализовалась в одной из интереснейших, на мой взгляд, работ Эйдельмана — основательной статье «Вослед Радищеву», где судьбы Герцена и Пушкина, поиски органичного пути, пересеклись на судьбе Радищева.

Сюжет статьи многопланов. Это и набросок истории возникновения «Колокола» и вообще издательской деятельности Герцена и Огарева, и набросок биографии Радищева, и история создания «Путешествия из Петербурга в Москву», и анализ мотивов, двигавших и лондонскими пропагандистами и Радищевым. Но смысловое зерно сюжета — то, ради чего, осмелюсь утверждать, и была написана статья, — Пушкин, всматривающийся как в зеркало в судьбу Радищева и примеряющий на себя его трагический опыт.

Эйдельман, как говорилось, использовавший в качестве творческого приема самоотождествление с важнейшими для него персонажами, увидел нечто подобное в статье Пушкина «Радищев», написанной в гибельном для поэта 1836 году.

Приведя целый ряд убедительных параллелей, Эйдельман цитирует фрагмент пушкинского текста, где, по его мнению, «уж вообще невозможно разделить двух писателей».

«Не станем укорять Радищева в слабости и непостоянстве характера. Время изменяет человека как в физическом, так и в духовном отношении. Муж, со вздохом или с улыбкою, отвергает мечты, волновавшие юношу. Моложавые мысли, как и молодежавое лицо, всегда имеют что-то странное и смешное. Глупец один не изменяется, ибо время не приносит ему развития, а опыта для него не существует. Мог ли чувствительный и пылкий Радищев не содрогнуться при виде того, что происходило во Франции во время ужаса? Мог ли он без омерзения глубокого слышать некогда любимые свои мысли, проповедуемые с высоты гильотины, при гнусных рукоплесканиях черни? Увлеченный однажды львиным рыком колоссального Мирабо, он уже не хотел сделаться поклонником Робеспьера, этого сентиментального тигра».

Эйдельман комментирует: «Здесь, конечно, полускрытая пушкинская исповедь — об эволюции собственных взглядов — для чего жизнь Радищева важнейший повод».

Эйдельман убедительно показывает, как Пушкин, незадолго до гибели, тоже «сломав для себя грань между субъективным и объективным», мучительно пытался «сказать все и не попасть в Бастилию». Сказать множество насущных для него и для русского общества вещей и не попасть под нож цензуры... В известном смысле статья о Радищеве была и завещанием Пушкина.

В ней он кропотливо нащупывал пути преодоления барьера, воздвигаемого властью между мыслителем и обществом.

С обсуждения той же проблематики, но советского периода, начинается фундаментальная работа Эйдельмана «Революция сверху в России», которую также можно считать завещанием историка, мыслителя, просветителя.

Из-за масштаба задачи, которую поставил перед собой Эйдельман, из-за обилия вовлеченного материала, из-за огромного количества конкретных рассмотренных ситуаций невозможно в рамках этого предисловия сколько-нибудь подробно анализировать эту работу. Потому мы остановимся на моментах наиболее актуальных.

Надо сказать, что и здесь мы встретим ключевые фигуры, на которых постоянно было сосредоточено внимание Эйдельмана, — Пушкин, Герцен, Толстой. Их мнение он демонстрирует при рассуждении о смысле и цене петровских реформ. Хотя, разумеется, галерея «экспертов» значительно расширена. Например, для оценки «революции Петра» теперь привлечен кроме Льва Николаевича Толстого — Алексей Николаевич Толстой с его сильным рассказом «День Петра», написанным в эмиграции в 1918 году: «Но все же случилось не то, чего хотел гордый Петр; Россия не вошла, нарядная и сильная, на пир великих держав. А подтянутая им за волосы, окровавленная и обезумевшая от ужаса и отчаяния, предстала новым родственникам в жалком и неравном виде — рабою. И сколько бы ни гремели грозно русские пушки, повелось, что рабской и униженной была перед всем миром великая страна, раскинувшаяся от Вислы до Китайской стены».

На обширном пространстве «Революции сверху в России» особое внимание по понятным причинам уделено двум эпохам — петровской и эпохе Великих реформ.

С «революцией Петра» дело особое, потому что, как мы уже знаем, Эйдельман, «ломающая грань» между собственным мировосприятием и таковым же у Пушкина и Герцена, рещал вопрос о своем отношении к Петру.

В «Революции сверху» он предлагает широкий спектр мнений, но нет окончательного и ясного ответа.

«Споры, споры... Все их разнообразие, наверное, легко свести к сравнительно простой формуле: как совместить два начала в том правителе, в том царствовании, той „революции сверху“. Начало прогрессивное, светлое, а рядом темное, зверское. Говорилось о величественном здании, которое воздвиг император, и о заложенной под это здание „огромной мины“ (экономическом, политическом рабстве), достаточно ли крепка постройка, чтобы не поддаться взрыву, или угроза смертельна, неотразима?» История показала — да, смертельна, неотразима.

Не давая прямого и категорического ответа, верный диалектическому принципу, всем ходом своей мысли Эйдельман дает понять, что насильственный костоломный метод воздействия на реальность чреват тяжкими последствиями. И одна из главных причин неудач — пренебрежение человеческим достоинством. Не называя в этом случае Пушкина, Эйдельман фактически отсылает нас к пушкинским представлениям о должном.

В принципиальной главе «Страх или честь» он пишет: «Дубинка и честь в политике, морали примерно так же соотносились, как палочные и рыночные дела в экономике.

Причудливое сочетание, пересечение чести и страха, в разных дворянских поколениях — важнейший, интереснейший исторический феномен XVIII века.

Результатом, вероятно довольно неожиданным для самих самодержцев (и притом важнейшим российским историческим уроком!), становится отныне роль «мыслящего меньшинства», примерно одного процента страны, приобщенного к просвещению и чести, людей, которых назовут интеллигенцией.

После того в русской истории будет сделана не одна попытка обойтись без подобных людей, править «непосредственно», даже прямо от престола выйти к народу, вернее — к толпе, «черни», минуя эту интеллигенцию, ведь она самым фактом своего существования выглядела чем-то ограничивающим многовековое и страшное российское самодержавие».

Тут надо оговориться, что понятие дворянской чести в точном понимании этого слова возникло вопреки петровской практике и появилось только после манифеста о вольности дворянства 1762 года, когда дворянин был законодательно защищен от телесного наказания.

К сожалению, Эйдельман игнорировал попытку существенно реформировать политическую систему России двумя сильными группами — «верховниками» и шляхетской — дворянской — группировкой в 1730 году при возведении на престол Анны Иоанновны. Очевидно, он ориентировался на негативное отношение к этим событиям Пушкина. Но Пушкин не знал и не мог знать конституционных проектов князя Дмитрия Михайловича Голицына и «проект большинства», написанный Василием Никитичем Татищевым, идеологом шляхетства.

Огромная эрудиция позволила Эйдельману пройти путь от Петра до Ленина. Анализируя реформаторские попытки Александра I, он со свойственной ему осмотрительностью рассматривает причины провала этих попыток. С одной стороны, грозное сопротивление консервативного дворянства и бюрократического аппарата — притом что за последние полстолетия в России убито три законных императора, последний с молчаливого согласия самого Александра, с другой, то ли лицемерная, то ли искренняя жалоба: «Некем взять!» — притом что в 1815 году, любимый всеми сословиями, он мог опереться на популярных в армии молодых генералов, мечтавших о преобразованиях, и на молодое просвещенное офицерство, которое, разочаровавшись в императоре, пошло в тайные общества.

Эйдельман и здесь не выносит вердикта. В роковое время конца 1980-х годов — пик перестройки, канун радикальных реформ — он предлагает своему читателю самому оценить реальность реформаторских перспектив в разные моменты нашей истории.

Рассматривая ситуацию кануна Великих реформ 1860–1870-х годов, Эйдельман обращает внимание на парадоксальные, казалось бы, явления.

«Еще Александр I жаловался, что реформы „некем взять“, а ведь он имел дело с людьми конца XVIII — начала XIX века, куда более живыми, энергичными, чем омертвевшая за 30 лет николаевская бюрократия».

Но снова, как и в петровские времена, срабатывает удивительный закон: **«преобразования, едва начавшись, находят своих исполнителей».**

И это оказалось поразительно точным наблюдением. Когда создавалась книга, еще не открылся Съезд народных депутатов (май 1989 года), где внезапно появилось целое созвездие ярких политиков...

Далее: «Изумляясь этому обстоятельству, известный историк Г. А. Джаншиев в конце XIX века писал: „Нивесть откуда явилась фаланга молодых, знающих, трудолюбивых, преданных делу, воодушевленных любовью к отечеству государственных деятелей, шутя двигавших вопросы, веками ждавших очереди и наглядно доказавших всю неосновательность обычных жалоб на неимение людей“».

Историк пояснил, что эти деятели пришли к своему делу разными путями: из старых дворянских гнезд, университетов, кадетских корпусов, из старых и новых философских кружков...

Еще летом 1857 года в ответ на обычное сомнение: найдутся ли реформаторы? — в одной из важнейших правительственных комиссий было отмечено: «Законодатель не должен видеть препятствие в недостатке хороших людей в России. Если он будет действовать под влиянием той мысли, что у нас нет людей, то в таком случае не представляется никакой надобности в улучшении...».

Эти слова произнес 72-летний председатель Государственного совета Дмитрий Николаевич Блудов.

С Блудовым мы уже встречались. Его участие в реформах было для Эйдельмана свидетельством сложности путей, которыми шли деятели пушкинской, декабристской эпохи. Обращает он внимание и на активнейшее участие в разработке и осуществлении крестьянской реформы Якова Ивановича Ростовцева, которого Герцен ославил как предателя. И Эйдельман с Герценом солидарен. Хотя есть серьезные доказательства того, что известный визит поручика Ростовцева к великому князю Николаю Павловичу 12 декабря был демаршем одной из группировок в тайном обществе, пытавшемся запугать Николая и заставить его отложить переприсягу.

Как бы то ни было, бывший член Северного общества Ростовцев, друг Оболенского, участник конспиративных совещаний в период междуцарствия, стал одним из верных соратников Александра II в деле освобождения крестьян.

Для Эйдельмана важна цельность процесса. Начавшиеся реформы сверху объединяют несколько поколений. При каких условиях пробуждаются подавленные обстоятельствами устремления молодости у тех, от кого, казалось бы, ждать этого не приходилось? Почему образцовый николаевский бюрократ, любимец Николая, лицеист Модест Корф, отнюдь не грешивший вольнодумством, становится усердным сотрудником Александра II?

Эйдельман подробно прослеживает процесс развития реформ с самого момента их зарождения — середины 1850-х годов. Но главный интерес — люди.

Событийная сторона существенна, но прежде всего внимание обращается на моменты, определяющие успех или провал реформ.

При каких условиях начинается встречное движение власти и общественного авангарда? Какую роль играет в такие моменты политическая воля лидера, в данном случае — государя?

«После длительного перерыва, после николаевского 30-летия, произошло определенное сближение тех, кто сверху проводил реформы, и тех, кто их реализовывал, ими воспользовался. Либеральная интеллигенция, разночинная демократия, большое число молодых людей и не только молодых — тех, кто пошел в земства, новые суды, новую армию, в мировые посредники...

Если бы „верхам“ удалось вступить с этой массой хотя бы приблизительно в те же отношения, в каких дворянская империя XVIII века была с десятками тысяч активных, просвещенных дворян, тогда... Тогда многое можно было бы сделать. Тогда обновленное государство получило бы, можно сказать, могучую, многомиллионную армию „внутренних сторонников“.

Однако века самовластия, крепостничества, отсутствия демократии делали свое дело. <...> Молодые люди стараются сеять „разумное, доброе, вечное“ — идут в земства, лечить, учить, просвещать; власть им не доверяет — высслеживает, притесняет, вызывает сопротивление и довольно быстро превращает в революционеров тысячи Базаровых».

Главы, посвященные эпохе Великих реформ, пожалуй, самые важные и актуальные в «Революции сверху».

Уроки Великих реформ и «контрреволюции сверху» Александра III — центральный сюжет работы — убийственно наглядная картина того, к чему приводят оборванные реформы и попытки остановить движение, то, что можно определить как «ложную стабильность». И роковой разрыв, роковые «ножницы» — «обновляющаяся экономика... никак не дополняется политикой».

Разумеется, в пределах небольшого предисловия невозможно, да и не нужно пытаться представить читателю обзор всей развернутой автором широчайшей исторической панорамы. В «Революции сверху» речь идет и о трагической судьбе Сперанского и его реформ, и о реформе Столыпина и о многом другом. Все это читатель найдет в трактате Эйдельмана и сделает свои выводы.

«Революция сверху в России» естественным образом завершает общий сюжет книги — представление феноменально образованного, оригинально мыслящего и живущего единой жизнью со своими героями историка.

Эйдельман не принадлежит к тем почтенным историкам, которые способны изучать и являть миру прошлое — «без любви и ненависти», холодно и возможно объективно. Более того, он принципиальный антидетерминист. Ему

принадлежит формула: «Не было, но могло быть». Отсюда — исторический оптимизм при трезвой оценке текущей реальности.

«„Революции сверху“, нередко длящиеся 10–20 лет, в течение сравнительно короткого времени приводят к немалым, однако недостаточно гарантированным изменениям. Последующие отливы, „контрреволюции“ редко, однако, сводят к нулю предшествующий результат, так что новый подъем начинается уже на новом рубеже, чем предыдущий».

И в этом отношении Эйдельман вполне солидарен с идеями Марка Блока, словами которого я открыл это предисловие. Автор горького сочинения, написанного после страшного поражения его страны, ежедневно подвергающийся смертельной опасности, Блок исповедовал тот же исторический оптимизм: «История — это, по сути своей, наука об изменениях... Она может попытаться заглянуть в будущее; я думаю, что в этом нет ничего невозможного. Но она ни в коем случае не учит тому, что прошлое может вернуться, что происшедшее вчера может случиться сегодня»¹.

И свой трактат-наставление, рассказав о тяжелейшем пути России в поисках свободы и процветания, Эйдельман заканчивает так: «Мы верим в удачу — не одноразовый подарок судьбы, а трудное движение с приливами и отливами — но все же вперед.

Верим в удачу — ничего другого не остается».

В последние месяцы жизни, предвидя свой уход, Эйдельман торопился передать своим согражданам тот опыт, который стал результатом его напряженной интеллектуальной жизни — рядом со своими героями. Теми героями, которые в свою очередь жили единой жизнью со своим Отечеством, своими судьбами формируя его, Отечества, судьбу.

Оттого можно с полным правом определить предлагаемый читателю том как «книгу судеб», среди которых судьба ее автора занимает свое место.

В настоящий сборник включены работы Натана Эйдельмана, не только посвященные разным темам, но написанные в расчете на разные читательские аудитории. С самого начала своей творческой работы автору важны были как задачи строго научного исследования, так и широкого гуманистического просвещения. В ходе этой работы он открывал для своих читателей целые пласты русской истории и культуры, выводил на поверхность потаенные события и обнаруживая неожиданные аспекты судеб важных для русской истории персонажей.

Издатели надеются, что эта книга даст современному читателю представление о многогранном наследии ученого и писателя, который, не дожив до новой эпохи, сколько стало сил готовил ее приход.

Я. Гордин

¹ Блок М. Странное поражение. М., 1999. С. 18.